

Евгений Иванович Маурин

На обломках трона

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-311.6
ББК 84-4

Евгений Иванович Маурин

На обломках трона / Евгений Иванович Маурин – М.: Книга по Требованию, 2011. – 82 с.

ISBN 978-5-4241-2188-3

В романах Евгения Ивановича Маурин разворачивается панорама исторических событий XVIII века.

ISBN 978-5-4241-2188-3

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Евгений Иванович Маурин
На обломках трона

I

При Робеспьере, особенно в последние месяцы его «царствования», террор дошел до апогея безумия. С падением Робеспьера¹ террор пошел на убыль. Но обстоятельство сложились так, что лишь террором поддерживался дух республики.

Если разобраться строго в исторических фактах, уже при Робеспьере от республики не оставалось и следа: была навязанная народу диктатура. Но форма правления данного народа всегда определяется степенью его готовности для восприятия более совершенной формы. Если эта «степень восприятия» невелика, нечего ждать быстрого перехода к более совершенной форме. Революция 1791 года была вызвана, главным образом, экономическими причинами, но общая толща народа еще не могла усвоить себе истинные задачи народоправия. Вот почему первая республика просуществовала так недолго: у нее не было корней в народном сознании. Что же удивительного, если так быстро оправдалось пророчество гениальнейшего политического проходимца Фушэ: «Сам не сознавая этого, Робеспьер работает для другого, неведомого, того, который еще должен прийти».

Действительно Робеспьер подготовил Францию к диктатуре, которая впоследствии превратилась в империю. Вся послеробеспьеровская эпоха является логическим переходом к наполеоновщине. При Робеспьере диктатура оставалась еще в области идеи, она была непосредственно связана с самой личностью Робеспьера, но не формулировалась определенным законом. Номинально правил народ, только фактически власть сосредоточивалась в одних руках. А с падением Робеспьера диктатура стала занимать все более равное место в законе об управлении, пока не вылилась в прежнюю форму единодержавия, при котором народоправию уже не отводилось никакого места даже номинально. «Неведомый», который, должен был прийти и для которого бессознательно работал Робеспьер, лишая республику ее жизненных соков, оказался еще большим деспотом, чем, пожалуй, прежние французские короли.

Этим «неведомым» был Наполеон Бонапарт. Наполеон, родившийся в 1769 году, происходил из патрицианской корсиканской семьи. Он выделился впервые при взятии Тулона (1793 г.), состоя в чине капитана артиллерии. В первой итальянской кампании (1794 г.) он уже участвовал в чине бригадного генерала. Но хотя ему было в то время всего лишь двадцать пять лет, в этой быстрой карьере отнюдь нельзя усматривать раннее признание его таланта. Республика нуждалась в образованных офицерах, офицеры-роялисты или эмигрировали, или были казнены, и их же участь разделили многие республикански настроенные военачальники, со стороны которых правительство Робеспьера могло опасаться военной диктатуры. Вот почему всякий мало-мальски способный офицер делал быструю карьеру. Но многие из тех, которые впоследствии служили в первой империи маршалами, в это время были несравненно более на виду, чем Бонапарт.

После падения Робеспьера и в краткое время господства термидорянцев Бонапарт оказался в немилости. Между тем он вообще не занимался политикой. Он уже питал великие планы, но ничем не выказывал их. В душе он относился совершенно равнодушно даже к республиканской свободе. Правда, великий

краснобай и любитель громким словом поднять дух солдат, Наполеон пользовался эффектными разглагольствованиями о свободе и республике, чтобы создать для армии яркий боевой стимул. Но это был прием искусного военачальника, а не крик души искреннего республиканца.

Итак, Наполеон оказался в немилости. Оставалось лишь ждать когда придет его час. Этот час пробил 13 вандемьера (октября) 1795 года, когда понадобилась беспринципность молодого генерала для спасения директории.

Погубив Робеспьера, термидорянцы отправили на эшафот всех его единомышленников и клеветов. Погиб и Фуке Тенвиль, обвинитель революционного трибунала, обвинявший сначала врагов Робеспьера, а потом и его самого. Последнее не спасло Тенвиля, ему пришлось разделить участь павшего диктатора.

Но вскоре пришел черед и термидорянцев. Они недолго оставались у власти, в конвенте стал наблюдаться резкий поворот к умеренности политических воззрений.

Тем временем роялисты воспользовались общей политической неурядицей и подняли голову. Народные волнения следовали одно за другим. Толпы черни являлись к зданию конвента и требовали «хлеба и конституции». Читатели помнят из романа «Кровавый пир», что Робеспьер с друзьями непрерывно оттягивали срок введения конституции в действие. То же самое продолжалось и теперь, и когда 22 августа 1795 года конвент обнародовал вступление в силу конституционных гарантий, то оказалось, что это – уже не прежняя, а совершенно видоизмененная конституция.

По конституции 1795 года власть вручалась директории, состоявшей из пяти директоров. Каждый из директоров в течение пяти месяцев именовался президентом. Законодательная власть была распределена между советом молодых, так называемым «советом пятисот» (по числу членов), который составлял законы, и «советом старейшин» (из 250 членов), который мог отвергать эти законы, если находил их противными духу конституции.

Таким образом, в директории уже сказался явный переход к узаконенной диктатуре: число лиц, правивших государственным рулем, сокращалось до пяти.

В обнародовании конституции роялисты усмотрели серьезную опасность: если народ освоится с этой новой формой правления, его будет трудно поднять на восстановление прежней. И вот роялисты в вандемьере (октябре) 1795 года подняли восстание. Против сорока тысяч восставших конвент мог противопоставить всего каких-нибудь две тысячи. Были спешно вытребованы войска из саблонского лагеря, депутатам были розданы ружья.

С самого начала в обращении с повстанцами-роялистами не было проявлено надлежащей твердости. Генерала Мену, назначенного главнокомандующим войсками конвента, пришлось сейчас же сменить из-за подозрительной снисходительности к роялистам. Но и заменивший его Баррас повел себя настолько нерешительно, что мятежники осмелились в самой дерзкой форме поставить ультиматум конвенту, и этот ультиматум стали даже обсуждать. Вдруг прения по этому поводу были прерваны грохотом пушек. Оказалось, что генерал Бонапарт, которому было поручено занять улицу Сент-Онорэ, самым спокойным образом принялся аргументировать картечью. Роялисты обратились в бегство, оставив на месте сотни убитых. Мятеж был ликвидирован.

Теперь правительство принялось за государственное строительство. Душой директории стал Баррас, заведовавший полицией и внешним представительством. Хотя военными делами заведовал Карно, но благодаря Баррасу Бонапарт получил ответственное назначение на пост генерала-главнокомандующего итальянской армии, терпевшей неудачи под командой генерала Шерера. Большую роль в этом назначении сыграла Жозефина Богарнэ.

Жозефина была вдовой генерала Богарнэ, казненного в 1794 году. Креолка родом, до крайности пустая, легкомысленная, некрасивая, но крайне привлекательная, способная кружить головы, Жозефина играла большую роль в веселящемся обществе того времени. Ее любовники насчитывались десятками. Среди них был и Баррас.

После «блестящего» усмирения мятежников на улице Сент-Онорэ генерал Бонапарт стал героем парижского общества. Дамы заинтересовались двадцатипятилетним «героем», до крайности неловким в обществе, серьезным и неумелым в обращении с женщинами; В числе их была и тридцатидвухлетняя Жозефина. Она стала кокетничать с Бонапартом и сумела быстро влюбить его в себя. Однако тут же испугалась. Бонапарт оказался таким неистовым, таким бурно-пламенным, каким она не рассчитывала встретить его под внешней корой ледяного равнодушия, которой обычно было облечено все существо серьезного генерала. Жозефина пыталась отделаться от неудобного поклонника, но при настойчивости Бонапарта это было нелегко сделать. Не обращая внимания на разницу в возрасте, на легкомысленную репутацию молодой женщины, Бонапарт сделал ей предложение. После некоторой борьбы Жозефина приняла это предложение. Она обратилась к старому другу Баррасу с просьбой дать ход Бонапарту, так как вовсе не желала быть женой какого-то «полицеймейстера», которого используют только для усмирения взбунтовавшейся черни. Так в 1796 году состоялось назначение Бонапарта в итальянскую армию.

Бонапарт бурей пронесся по Италии, слава французского оружия была вознесена до небывалых высот. В Париж Наполеон вернулся уже признанным героем.

Теперь Наполеон Бонапарт задумал решительный ход, сказавшийся в египетском походе. Вот как он объясняет свои мотивы в «Воспоминаниях», которые вел на острове Святой Елены и в которых всегда говорил о себе в третьем лице: «Чтобы Бонапарт стал хозяином Франции, директория должна была потерпеть неудачи в его отсутствие, а с его возвращением и победа должна была вернуться к французским знаменам». Действительно, в то время как Бонапарт победоносно (и совершенно бесполезно, к слову сказать) пронес французское знамя по Египту, во Франции дела приняли плохой оборот. Французская армия стала терпеть поражения, директория скомпрометировала себя в глазах народа неудачными законами, роялистское движение все усиливалось. Бонапарт счел момент удобным для совершения переворота. Он покинул армию и явился в Париж 18 брюмера (9 ноября) 1799 года. Бонапарт при барабанном бое, заглушавшем протесты, солдатскими штыками выгнал депутатов «совета пятисот» из зала заседания. Конституция была отменена, орган правительственной власти стало консульство из трех лиц. Первым консулом, главой правительства, оказался, конечно, Бонапарт. Таким образом диктатура пяти членов в директории заменилась диктатурой консульства из трех членов. Вскоре Бонапарт заставил признать себя пожизненным первым консулом: теперь число «три» сократилось до «

единицы»!

Став консулом, Бонапарт сразу показал себя во весь идейный рост. Достаточно упомянуть, что он восстановил рабовладельчество в колониях. И это делалось под прикрытием республиканского знамени, провозгласившего свободу главным и непогрешимым догматом грядущего строя!

Но о республике теперь говорить было уже нечего. Она кончилась совсем не 18 мая 1804 года, когда Бонапарт приказал провозгласить себя императором. Агонизировавшая под ударами робеспьеровской гильотины первая французская республика фактически скончалась под ударами штыков, которыми солдаты Бонапарта изгоняли из зала депутатов, а из Франции – конституцию и законность!

Дальнейшая судьба Наполеона, как императора, общеизвестна. Но она нас в данном случае и не интересует. Наше повествование относится к тому времени, когда на обломках королевского трона робко и смутно стал вырисовываться силуэт императорской короны. Побегу новой формы единодержавия уже пробивались из-под развала старой. Все видели их, никто не придавал им значения. Но когда на вырубленной полянке мы видим тоненькие зеленые веточки, робко жмущиеся к угрюмым пням, разве мы отождествляем эти побеги со срубленными гигантами?

II

– Парижане удивительно напоминают мне мух осенью! – сказал Франсуа Жозеф Тальма, стоя у большого венецианского окна в директорском кабинете и любуясь видом пестро разодетой толпы, заполнившей улицу. – Вы обращали когда-нибудь внимание? Подует холодный ветер, и мухи безжизненно валяются, где попало. Но стоит только первому солнечному лучу обогреть их, как они уже снова жужжат, словно ничего и не было! Вы посмотрите только на эту массу народа! А что делается на главных улицах! В открытых кафе – ни одного свободного столика!

– Ну, это так понятно! – ответил директор «Комеди Франсэз». – После ужасного сентября и невозможного начала октября небо вдруг подарило нас истинно летним днем, и нет ничего удивительного, если парижане устремились на воздух!

– Да нет, вы меня не поняли! – возразил Тальма. – Я имею в виду вовсе не капризы погоды и не сегодняшний день! Меня поражает, как быстро парижане забыли все ужасы недавнего прошлого. Три года отделяют нас от «сентябрьских убийств», меньше двух – от «эпохи фурнэ» и менее двух недель от событий «тринадцатого вандемьера». А ведь возьми тогда верх роялистские инсургенты, и «сентябрьские убийства» повторились бы снова, только в обратном направлении. Страшно подумать! Но парижане и не хотят думать, не хотят вспоминать! Они весело жужжат, как ожившие мухи, сразу забыв о холодных ветрах и морозах. Недавно я был на завтраке у госпожи Гильом. К концу завтрака приехали две прославленные распутницы – Тереза Тальен и Жозефина Богарнэ. Зашел разговор о предстоящем вечере у Барраса в честь «генерала Вандемьера»², и обе трещотки начали наперерыв жаловаться, что с портнихами и сапожниками просто слада нет. Весь этот народ ужасно обнаглел, дерет страшные цены, ничего не делает вовремя, грубит – просто ужас! «Ну знаете, сударыни, – пошутил я, – прежде все-таки было хуже, когда эти сапожники и портные тащили нас на гильотину, если только не расправлялись собственноручно тут же, на улицах! Вот было ужасное время! Все мы сидели по своим углам, забаррикадировав двери и вздрагивая при малейшем шуме. Впрочем, вам все это хорошо известно, потому что, насколько помнится, вас обеих выручило из тюрьмы только падение Робеспьера!» Не успел я договорить, как обе дамы окинули меня взором гневного презрения, встали и ушли, сказав госпоже Гильом, что зайдут в более удобное время. А госпожа Гильом очень добродушно заметила мне: «Милый Тальма, хоть вы и – великий актер, но не надо забывать светские приличия! В Париже не принято теперь вспоминать об этих ужасах. Это – дурной тон». Как вам это понравится, а? Вспоминать о том, что так болезненно коснулось всей Франции, – дурной тон!

Директор хотел что-то ответить, но в этот момент в кабинет вошел слуга с листком для посетителей» на подносе. Директор взял в руки листок и громко прочел:

– Аделаида Гюс!

– Аделаида Гюс! – воскликнул Тальма, сейчас же забывая изменчивость парижан и равнодушие золотой молодежи к прошлому. – Знаменитая Адель! Господи, ведь о ней давно уже не было ничего слышно! Вы знаете, ведь я ее помню!

Мне было лет девять или десять, когда меня однажды взяли в театр на парадный спектакль. Присутствовал какой-то иностранный принц, давали «Заиру». Потом говорили, что принц серьезно увлекся Аделью. И понятно! Какое редкое сочетание поразительной красоты и таланта! Просто не понимаю, где она могла быть все это время? О ней ничего не было слышно. Да ведь между тем, какое дарование и внешность...

– Милый Тальма, – перебил его директор, – это было лет двадцать пять тому назад?

– Да, около того.

– Но ведь Гюс не была тогда в начале своей карьеры.

– О, нет! Она была в полном расцвете лет, и за нею уже значился длинный ряд успехов на сцене и в жизни. Поэты слагали в ее честь оды, князья и принцы крови и капитала несли к ее ногам...

– Значит, ей было не менее двадцати лет тогда? – снова перебил его директор.

– Конечно, нет, даже больше! По-моему, ей было тогда никак не менее двадцати пяти или даже...

Тальма вдруг замолчал, заметив, с какой коварной улыбкой смотрел на него директор.

– Что же вы не продолжаете, милый Тальма? – сказал директор. – Значит, ей было не меньше двадцати пяти, если не больше. А было это около двадцати пяти лет тому назад? Ну, так немножко элементарной арифметики, и вы сразу найдете ответ на свое недоумение, почему талант и былая внешность не смогли помочь ей удержаться на подмостках до сих пор! Я уже проделал этот подсчет и потому два раза уклонялся от приема.

– Но теперь вы примете ее? – спросил Тальма, подхваченный жалостью к скатившейся звезде парусиного неба.

– К чему? – с оттенком грусти ответил директор вопросом на вопрос. – Вы знаете, что премьерши никогда не свыкаются с мыслью о старости. А ведь Гюс пришла просить места. Что могу я предложить ей? Наша труппа в полном составе. Или, может быть, мне отпустить актрис и передать Гюс роли молодых девушек? Неужели вы думаете, что такая «бывшая величина», как Гюс, не примет за оскорбление, если я предложу ей второстепенные старушечьи роли?

– Но нельзя же отказывать просителю в приеме на основании одних только предположений! – взволнованно возразил Тальма. – Откуда вы можете знать, что у Гюс непременно должны быть большие претензии? А, может быть, она терпит нищету, наголодалась и теперь будет рада какой-нибудь сотне ливров в месяц? Как бы полна ни была наша труппа, но бюджета «Комеди Франсэз» не отягчит лишняя сотня, в которой сцена не имеет права отказать «бывшей величине»! А, кроме того, почему вы решаете сразу, что для Гюс не найдется роли, кроме второстепенной? Вот мы с вами только что говорили о восстановлении некоторых шедевров классического репертуара. Скажите мне, пожалуйста, с кем вы поставите хотя бы «Аталию»?

– Уж не Аделаиде ли Гюс играть Аталию?

– А кто имеет на это больше прав и оснований?

– Но вашей Гюс пятьдесят лет!

– А сколько могло быть Аталии, если она – бабушка взрослого внука? Нет, дорогой директор, восстанавливайте классические пьесы, но не классические

ошибки! Я знаю, что прежде Аталию играли совсем молодой, но я уже не раз говорил вам, что немедленно отрясу прах от своих ног, если «Комеди» не отрешится от рутины, если в сценическое творчество не будет внесен более свежий, более естественный дух! Но, конечно, раз господин директор будет во всем исходить из предвзятого, непроверенного мнения, если...

– Но не волнуйтесь, дорогой Тальма! – ласково остановил директор расходившегося актера. – Вы знаете, я никогда не противоречу вам в ваших сценических реформах и начинаниях и вижу в вас великого обновителя французской сцены! Но в данном случае мы далеко ушли от непосредственной темы нашего спора. Вы хотите, чтобы я принял госпожу Гюс? Отлично! Жозеф, попросите эту даму войти!

Жозеф, с бесстрастным лицом слушавший этот спор, спокойно повернулся и возвратился в приемную. Но бесстрастие сразу слетело с его лица, когда он быстрым шепотом посвятил просительницу в суть разговора между директором и Тальма: Жозефу было хорошо заплачено за такое внимание.

При появлении Адели в кабинете Тальма с нескрываемым интересом впился взглядом в ее лицо, а директор невольно встал ей навстречу. Ведь эта женщина представляла собой целую блестящую страницу славного прошлого французского театра, ведь ее в ореоле славы видели подмостки прежней, истинной³ «Комеди Франсэз»! Правда, теперь пора блестящего расцвета, участницей которого была Гюс, казалась во многом смешной, и то, чего безуспешно добивались Лекен и Клэрон⁴, уже вошло в плоть и кровь сценического творчества. Словно несколько столетий отделяло эпоху Гюс от эпохи Тальма. Но именно это и увеличивало в глазах директора ореол Аделаиды Гюс. Так мы обнимаем голову перед старой, ненужной, обветшалой, потускневшей реликвией, наглядно говорящей нам о славе былых веков.

С иным чувством смотрел на Адель Тальма. В этот момент он забыл о том, что он – великий актер, предтеча новых веяний, мощный реформатор сцены. Он почувствовал себя тем самым мальчиком, который жадно ловил каждое слово Заиры, тогда как вид прекрасной артистки впервые пробудил в невинном доселе сердце отрока ранние томления чувственности. Сколько ночей не спал он тогда, мечтая о дивной Гюс, воссоздавая в воображении каждую линию, каждый изгиб ее прекрасного, пластического тела!

Да, словно и не прошло с тех пор двадцати пяти лет, с таким молодым чувством встретил Тальма входившую Гюс. Но едва только он кинул взор на артистку, как сейчас же резко отвернулся к окну. В душе увлекающегося художника плакала оскорбленная мечта. Неужели это была Гюс? Неужели это была греза его отрочества?

Но Адель не заметила этого жеста. Директор подвинул ей кресло, попросил присесть и спросил:

– Чем могу служить вам, сударыня? Впрочем, что я и спрашиваю! Имя Гюс само говорит за себя, и, конечно, вы хотели бы...

Он несколько замялся.

– Да, я хотела бы попытать счастья, может быть, для меня найдется местечко в труппе? – ответила Адель.

– О, почему бы и нет! Но... это, конечно, зависит... Поймите сами, сударыня...

– Я отлично понимаю! – ответила Адель, грустно усмехаясь. – Ведь я не из

тех, которые до гроба строят себе иллюзии. О, мое время прошло! Я знаю, что не могу рассчитывать на прежнее, о, нет! Но я думала... что-нибудь маленькое... Все-таки за мной – большой опыт. Правда, я уже несколько лет, как отошла от сцены, но разве этому можно научиться? Да и тоскливо, хмуρο стало мне на душе без театра на старости лет. Старая собака подползает к ногам хозяина, чтобы умереть около того, кому она служила всю свою жизнь. Я – такая же собака.

Голос Адели дрогнул, она стиснула зубы и нервно затеребила платок, который держала в руках.

Тальма резко отвернулся от окна, взволнованно подошел к Адели и с дрожью в голосе сказал:

– Напрасно вы говорите так! Талант не имеет возраста! Вы не поняли слов господина директора; и это причинило вам страдание. Господин директор хотел лишь указать на то, что изменение наружности логически влечет за собой изменение характера исполняемых ролей. Прежде вы играли молоденьких, теперь вы должны перейти на роли пожилых. Тут нет ничего обидного и позорного. Нет плохих ролей, существуют только плохие актеры. Может быть, вы знаете, что свое имя я составил себе Карлом IX⁵, ролью, от которой отказывались все остальные актеры! Ну, так не надо же унижать себя! Такая сила, как Аделаида Гюс, всегда желательна во всякой труппе. Мало ли ролей, в которых вы можете потрясти публику? Аталия, королева в «Гамлете», Екатерина в «Карле», да разве их перечесть? Кроме того, господин директор хотел еще сказать, что теперь дела театра далеко не прежние, никаких субсидий нет, расходы увеличились, а потому артисту придется быть скромным в своих гонорарных требованиях. Сразу на большее жалование вы рассчитывать не можете, но не потому, что «ваше время прошло», а потому, что времена вообще переменились. Я извиняюсь, что взял на себя смелость говорить от имени господина директора, но перед вашим приходом мы уже обсуждали кое-что касательно этого вопроса, а потому я в курсе намерений дирекции. К тому же я видел, что ваши переговоры сразу принимают неправильный оборот, и хотел избавить вас от ненужного самоуничужения. Вот и все. Аделаиде Гюс первая французская сцена не имеет права отказать в ангажементе. Вопрос только в том, удовлетворитесь ли вы скромными условиями. Но это – вне моей компетенции, а потому, чтобы не мешать вам сговариваться, я покидаю вас! Имену честь кланяться! – и Тальма взволнованно вышел из кабинета.

Словно зачарованная смотрела ему вслед Адель. Горячей волной пронизывало ее обаяние этого стройного, высокого мужчины с царственной головой, тонким, нервным лицом, орлиным носом и пламенными, выразительными глазами! А голос, голос! Мягкий, звучный, богатый интонациями, так и льющийся от сердца к сердцу! И с какой горячностью он вступился за нее, как он должен любить свое дело, если страдания артистки, некогда знаменитой, но теперь оставшейся за колесницей убегающего времени, преисполняют его сердце такой острой жалостью!

Но только ли одной жалостью?

Женщина неискривима, существуют иллюзии, от которых она никогда не в силах отделаться окончательно. Что бы ни говорили ей зеркало, разум, сознание, в тайном уголке ее души вечно дремлет надежда на то, что ее обаяние еще не утрачено окончательно.